

ЕВГЕНИЙ ГУСЛЯРОВ

ЗАКОН ДОСТОЕВСКОГО И “ФУРИОЗНАЯ ЭМАНЦИПАНТКА”

(К 190-летию Ф. М. Достоевского)

Я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных.

И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен... и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято.

Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной.

Фёдор Достоевский

Вот одна из блестящих метафор, объясняющих творчество Достоевского. Возможно, она ошибочна. Поскольку метафора, конечно, не доказательство. Но, в зависимости от яркости и неординарности, она заставляет думать и поддаваться скрытому в ней смыслу. Метафора — это гипотеза художника, и чем больше в ней блеска и неожиданности, тем больше хочется с ней согласиться. В книге “Современные русские писатели”, вышедшей в Петербурге в 1887 году, один из авторов её, французский дипломат и литератор виконт Мельхиор де Вогуэ, написал так: “Надо рассматривать Достоевского как явление иного мира, чудовище могущественное, но незавершённое... мир сотворён не из одного мрака и слёз, в нём существуют... и свет, и веселье, цветы и радость. Достоевский видел только вполтину... Он — путешественник,

облетевший всю вселенную и великолепно описавший всё, что он видел, но он путешествовал только ночью”.

Об одном сумеречном обольстительном образе, наяву встретившемся ему в его мрачных путешествиях по белу свету, и будет этот рассказ.

Достоевскому исполнилось к этому времени сорок лет. В сорок лет счастья нет – и не будет. Есть такое наблюдение в русском народе. Эмпирическое, взятое из богатого и неутешительного векового опыта. Но тут поговорка обманулась. Счастье, по крайней мере, в семейной жизни он позже познает. Не было и денег. В сорок лет денег нет... Ну, и так далее... Денег не будет у него во всю дальнейшую жизнь. К концу её он станет убеждённым монархистом. Не в последнюю очередь потому, что наследник престола, будущий император Александр III, заплатит его долги, в том числе потраченные на рулетку.

Вот коллективный его портрет, каким сложился он к этому времени, составленный современниками. Походка каторжника, которую навеки выработал он в семипалатинском остроге, лицо скопца, обрамлённое скудной бородой. На лице вместо кожи – пергамент, хоть свиток пиши. Одежда, правда, вызывающе модная, бельё чуть ли не из кружев. Это объяснимо, человек дорвался, наконец, до вольной жизни. И все её блага принял с болезненным наслаждением. Резким контрастом крахмальным рубашам голландского полотна выставлялись из обшлагов сокрушённые каторгой руки. Да ещё ступни, раздавленные солдатским плацем и кандалами, не вмещались в остроносые туфли, и ходить ему приходилось в чём-то, похожем на кожаные сундуки. “Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передёргивались”. Это сказала о нём Авдотья Панаева, жена известного писателя, потом спутница Некрасова. В неё Достоевский был влюблён, тайно. Вообще Достоевский влюблялся при всяком удобном случае. Его донжуанский список включает до полутора десятков в основном юных созданий, порой настолько экзотических, что стоят они отдельного авантюрного романа. Одна из них, например, Марфа Браун, урождённая дворянка Панина, была профессиональной куртизанкой, прообразом нынешних интердевочек, объехала в поисках приключений полсвета и была вызволена Достоевским не то из участка, не то из больничной палаты для нервноувечных. “Его обширный, сравнительно с величиною головы, лоб, резко выделявшиеся лобные пазухи и далеко выдававшиеся окраины глазниц, при совершенном отсутствии возвышений в нижней части затылочной кости, делали голову Фёдора Михайловича похожей на Сократову”. Это наблюдение принадлежит личному врачу Достоевского, доктору Степану Яновскому. “...Имел вид совершенно солдатский, то есть простонародные черты лица”, – писал странный друг Достоевского Николай Страхов. “Глаза небольшие светло-серые и чрезвычайно живые”. Это опять Степан Яновский. “Они были тёмно-карие, глубокие...” – уточняет Александра Толиверова. О глазах сведения такие, что только одно их описание давало повод разного рода аналитикам делать далеко идущие выводы. Особенно тем, кто носился тогда со ступой Эдипова комплекса. “...Что меня поразило, так это глаза; они были разные: один карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужины незаметно”. Это со слов Анны Достоевской, последней его жены. “Глаза угрюмые, временами мелькнёт в них подозрительность и недоверчивость, но большею частью видна какая-то дума и будто печаль”. Евгений Опочинин. “Лица, производящие подобное впечатление, мне приходилось несколько раз видеть в тюрьмах – это были вынесшие долгое одиночное заключение фанатики-сектанты”. Всеволод Соловьёв, брат известного философа. “Это был очень бледный, землистой, болезненной бледностью, не молодой, очень усталый или больной человек, с мрачным измученным лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно выразительными тенями от напряжённо сдержанного движения мускулов. Как будто каждый мускул на этом лице со впалыми щеками и широким возвышенным лбом одухотворён был чувством и мыслью. И эти чувства и мысли просились наружу, но их не пускала железная воля этого тщедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого и угрюмого человека. Он был точно замкнут на ключ: никаких движений, ни одного жеста, только

тонкие бескровные губы нервно подёргивались, когда он говорил. А общее впечатление с первого взгляда почему-то напоминало мне солдата из “разжалованных”, каких мне не раз приходилось видеть в детстве, – вообще напоминало тюрьму и больницу”. Варвара Тимофеева. “При всём этом, одетый в лёгкую выхухOLEвую шубку, худощавый, с впавшими глазами, с длинной и редкою русо-рыжеватой бородою и такими же волосами на голове – Фёдор Михайлович напоминал своею фигурою умного, деятельного промышленника-купца, но такого, однако ж, купца, который походил на думного боярина времён допетровской Руси, как их пишут наши художники на исторических картинах...”. Михаил Александров.

Хватит, пожалуй. Как видим, большинство этих воспоминаний никак не дадут нам облика природного обольстителя. На роль героя-любownika ни в каком театре он не сгодился бы. Тем более в той непрерывной драме, в какую обернулась вся его жизнь. Роль эту он, однако, кое-когда практиковал. Как правило – без успеха.

Теперь другой портрет. Той, которая на два года стала спутницей его в сумрачном путешествии по тёмной ночи жизни. Воспоминаний тут, конечно, поменьше. И они совсем иного плана. “Молодая и красивая...” – говорила о ней Любовь Достоевская, дочь. “Интересная во многих отношениях женщина” – это из журнала “Вестник литературы” за 1919 год. “Говоря вообще, она действительно была великолепна, я знаю, что люди были совершенно ею покорены, пленены...”. Василий Розанов, выдающийся русский философ, оказавшийся, к своему несчастью, мужем описываемой тут женщины. “Красавица первостепенная, что за бюст, что за осанка, что за походка. Она глядела пронзительно, как орлица, но всегда сурово и строго, держала себя величаво и недоступно...”. Ф. Достоевский в рассказе “Вечный муж”. Розанов уверяет, что тут писатель сказал именно о ней, героине этого небольшого сочинения. Что сразу бросается в глаза – сошлись на время две крайности. В некотором роде – сказка про аленький цветочек наяву. Хотя в тех её портретах, которые есть у меня, особой роковой красоты не заметно. Не в моём вкусе, видно. Хотя фотография, конечно, многое отнимает у живого человека.

В повести “Игрок”, неприкрыто автобиографичной, болезненно привязанный к игре в рулетку Алексей Иванович так описывает Полину (Достоевский даже имени её не поменял), в которую он мучительно влюблён: “Хороша-то она, впрочем, хороша: кажется хороша. Ведь она и других с ума сводит. Высокая и стройная. Очень тонкая только. Мне кажется, её можно всю в узел завязать и перегнуть надвое. Следок ноги у неё узенький и длинный, мучительный. Именно мучительный. Волосы с рыжим оттенком. Глаза настоящие кошачьи, но как гордо и высокомерно умеет она ими смотреть”.

Она, Аполлинурия Прокофьевна Сулова, была дочерью потомственного крестьянина. Изворотлив был её отец. Ещё до отмены крепостного права он сумел выкупить себя и своих близких у графа Шереметева. Был он самородок, которых немало пропало и пропадает в “простом” русском, всегда подневольном народе. Профессор А. Долинин, первым опубликовавший дневник Аполлинурии Суловой, читал письма её отца к разным людям. И свидетельствует, что написаны они замечательным русским языком, каким писать могут только большие книгочеи и умницы, прирождённые мудрецы. Это передано и двум его дочерям. Сестра Аполлинурии Надежда, между прочим, стала первой в истории русской женщиной-врачом. Сама же Полина уже в двадцать лет настолько ясно сознавала себя сочинительницей, что отважилась на пробу пера, и это роковым образом вплотную приблизило их, Достоевского и Сулову, друг к другу.

Что-то сразу не совсем ладное чувствуется в этой истории. Молоденькая студентка написала вдруг письмо знаменитому писателю. Там было признание в любви. По всему выходит, что письма этого, кроме самого Достоевского, никто не видел. Его нет в архивах. Никто его не цитирует. Дочь Достоевского пишет только, что письмо “было простым, наивным и поэтичным”. Письмо поспело вовремя. Жестокое одиночество опять входило в его жизнь. Умирала жена, по пустячному поводу власти отнимали у него журнал, а это был его

хлеб насущный и хлеб духовный. Неизвестно, какое время стояло на дворе, но в сумрачную душу писателя будто постучала весна. “Твоя любовь сошла на меня как божий дар, нежданно, негаданно, после усталости и отчаяния. Твоя молодая жизнь подле меня обещала так много и так много уже отдала, она воскресила во мне веру и остаток прежних сил”. Это из повести Сусловой “Чужая и свой”, где она подробно изобразила их отношения. Надо думать, что это подлинные слова Достоевского.

Но наивным и поэтичным было только письмо. Студентка же оказалась не столь простой. К этому времени она уже бредила литературной славой, и был у неё готов плохонький рассказ, даже на название которого она не слишком потратилась. “Покуда” – был он озаглавлен. Начинаящая писательница, конечно, не могла не знать, что знаменитый писатель, ставший тогда на короткое время кумиром читающей молодёжи, владел довольно популярным журналом “Время”. Если перелистать этот журнал Достоевского за сентябрь, например, 1861 года, то мысль о девственной наивности юного дарования как-то сама собой проходит. Рассказ этот тут опубликован и, конечно, совсем не по заслугам. Неуместная, помимо желания, тлеет мысль, что наивная поэзия письма сработала именно так, как предполагалось. К удовольствию автора этого никудышного рассказа “Покуда”. Потом вышел ещё рассказ, и больше печатных произведений писательницы А. Сусловой не появилось. Кроме как в тех гораздо более поздних изданиях, которые касаются сугубого литературоведения.

Но вот какое дело.

Аполлинария сама оказалась таким произведением, которому нет цены.

Эта роза была с шипами. Привлекательность её таила всегда угрозу. Иногда в самом непривлекательном виде. Некий престарелый профессор, вспомнив молодость, сказал ей ничего не значащий комплимент.

– Вы прелестны, как богиня Афродита. Зачем вам вся эта политика, эта учёность! – за что немедленно получил по физиономии. Впрочем, всё это сошло за естественный либерально-прогрессивный жест “фуриозной эмансипантки”, передового человека грядущей эпохи. Студенты, товарищи её, впали по этому поводу в неистовый восторг.

Есть два поразивших меня свидетельства о той поре Достоевского. Вот что пишет его дочь: “Думая об этом периоде жизни Достоевского, с удивлением спрашиваешь себя, как мог человек, живший в двадцать лет воздержанно, как святой, в сорок лет совершать подобные безумства. . . В двадцать лет мой отец был робким школьником; в сорок он переживал тот юношеский угар, который переживают почти все мужчины. Кто не безумствовал в двадцать лет, тот совершает безумства в сорок, – гласит мудрая пословица”. Атмосфера, которой жила редакция журнала “Время” и весь тот интеллигентский кружок, к которому принадлежал Достоевский в то время, имели не совсем здоровый дух. Сам Достоевский способствовал этому не в последнюю голову. Николай Страхов, прибывший тогда и к редакции, и к кружку тому, тоном отчаяния описывал вещи, которые и теперь не укладываются в сознании. “Разговоры в кружке занимали меня чрезвычайно. Это была новая школа, которую мне довелось пройти. . . С удивлением замечал я, что тут не придавалось важности всякого рода физическим излишествам и отступлениям от нормального порядка. Люди чрезвычайно чуткие в нравственном отношении, питавшие самый возвышенный образ мыслей и даже большею частью сами чуждые какой-нибудь физической распущенности, смотрели однако совершенно спокойно на все беспорядки этого рода, говорили об них как о забавных пустяках. . . Эта странная эмансипация плоти действовала соблазнительно и в некоторых случаях повела к последствиям, о которых больно и страшно вспоминать. . .” Это Страхов написал в “Материалах для жизнеописания Достоевского”. Что же это такое, о чём ему “страшно и больно вспоминать”? Посылая эти “материалы” Толстому, Страхов развил те соблазнительные строчки до жуткой определённости. Если бы не слишком уж основательный адресат, можно было бы подумать, что написанное Страховым – это легковесный заскок или злонамеренная байка. Там, между прочим, перечисляются настолько омерзительные детали, что мне их придётся опустить вовсе, а дальше идёт следующий пассаж. Относится он, несомненно, к тому времени, о котором тут идёт речь: “Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него (тут неожиданным образом

речь идёт о самом Фёдоре Михайловиче) не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица наиболее на него похожие — это герой Записок из Подполья, Свидригайлов в Прест. и Нак. и Ставрогин в Бесах; одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, но Д. здесь её читал многим. При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости". Речь, как мы можем понять, идёт о цинизме во взглядах на женщину, на отношения между мужчиной и женщиной. Он так же мог наложить на отношения Достоевского и Сусловой свой недобрый отпечаток.

Нет никаких сведений о том, как начинался этот диковинный роман студентки и бывшего интеллигентного каторжника. Известно только, что её первая любовь вскоре обернулась лютой ненавистью. Она потом будет мстить ему своими средствами, которые, пожалуй, тоже можно назвать "простыми и наивными". Если мы дознаемся, что же тут произошло, мы, пожалуй, откроем для себя одну из самых сокровенных тайн отечественного литературоведения и общей нашей культуры. Я думаю, что это немаловажно. Мне, например, не даёт покоя вот какой факт из жизни Пушкина, которая не менее для нас драгоценна. Однажды он садится в зашторенную карету с некоей Идалией Полетика, тоже писаной красавицей. Что там, в карете, произошло, никто не знает. Знают только, что после этого случая Идалия свирепо Пушкина невзлюбила. До такой степени, что её называют одним из главных организаторов и двигателем светского заговора против поэта и его гибели. История Достоевского с Сусловой по таинственности сопоставима с этим печальным эпизодом, какими изобильна история русской литературы. И приведённые выше неудобные в биографии бесспорного гения подробности могут, наверное, пояснить некоторые дальнейшие загадочные обстоятельства в их отношениях.

Конечно, есть документы, вникать в которые совестливому человеку не слишком ловко. Можно впасть в тон бульварного чтива. Приведённые выше строчки как раз тому подобны. Но история Достоевского с Аполлиной Сусловой именно такова, что обойти её невозможно, поскольку без неё нельзя понять многое из того, что написано Достоевским. Из всех русских писателей он в своих повестях и романах наиболее автобиографичен. Другого такого нет. Может, только Булгаков в "Театральном романе" да в "Записках на манжетах". Во всяком случае, если задаться целью, то выписками из его романов можно составить вполне подробный портрет автора. Во всяком случае — очерк его души.

Впрочем, сейчас не об этом речь.

Вот говорят, что Достоевский населил свои романы химерами и призраками собственного больного сознания. Что таких фантастических, намеренно изломанных, специально изобретённых и подогнанных под собственные романы людей в жизни Достоевского никогда не бывало и быть не могло. Потому что таковых вообще не бывает, не существует в природе.

Аполлиния Сулова, жизнь её и характер как раз и противоречат этой поверхностной логике. Она будто бы и создана-то была для Достоевского и его романов. Те, кто внимательно будут изучать историю этой трагической и странной любви, заметят, конечно, что эротический интерес у Достоевского к этому привлекательнейшему для него существу силён, но ещё сильнее его чисто творческий интерес к ней, интерес художника. По логике житейских банальностей её, предприимчивую студентку, следовало бы оставить в покое, коль скоро выяснилось, что она вовсе и не любит Достоевского, что она ошиблась в своём чувстве, а скорее всего, просто придумала его. Не выдержала испытания физиологией, и даже возненавидела эти оказавшиеся на поверку столь нечистыми отношения. В которых настойчивость зрелого и откровенного желания столкнулась самым суровым образом с первым девственным и наивным опытом. Но эта маета, несмотря ни на что, продолжается целых два года. Аполлиния не может так вот сразу расстаться с его славой, свет которой сделал её ещё более обольстительной в собственных глазах. "Ей нравился не мой

отец, а его литературная слава и в особенности его успех у студентов”. Любовь Достоевская. Он же не может оставить без конечного исследования доставшийся ему человеческий материал исключительного своеобразия.

При всём громадном богатстве житейского опыта Достоевскому, похоже, никогда не хватало знания жизни. Он всегда был творчески жаден к живой этой жизни. Он страшно дорожил своими впечатлениями. Он, как скупец, как жид у Пушкина, дрожит над всякой крупичей своего житейского опыта. Его, этот опыт, надо полностью и до конца упрятать в сундук очередного романа. Он поступает как трудолюбивый старатель. Вначале выбирает самую жирную и богатую жилу, потом вновь и вновь перелопачивает свои наблюдения, чтобы даже самая малая крупичка его знаний о жизни и живых людях не пропала.

И вот оказалось, что черты Аполлинии Прокофьевны Сусловой угадываются почти во всех женщинах, созданных воображением Достоевского – в сестре Раскольниковы Дуне, в Аглае из “Идиота”, в Лизе Дроздовой из “Бесов”, Ахмаковой из “Подростка” и, конечно же, Катерины Ивановны из “Братьев Карамазовых”. Дочь Достоевского же доподлинно уверяет, что именно с Сусловой списаны самые колоритные черты Полины Александровны из “Игрока” и Настасьи Филипповны из того же “Идиота”. О Достоевском написаны горы книг и исследований, и в каждом мы обязательно найдём попытку разгадать тайну влияния на него, и на творчество его, вечной студентки Сусловой. Вот и выходит, что ни одна женщина, кроме прародительницы Евы и царицы Клеопатры, не имела такого влияния на литературу и читательское воображение, как эта свободная в первом поколении русская крестьянка, дочь почётного гражданина из городка Иваново Полина Сулова. Тем она и интересна. И если хоть что-то разгадать в отношениях этих двух людей, то многое можно яснее представить и в творчестве гениального писателя, и в самой его жизни, и в том, как и по каким законам эта жизнь оборачивалась неповторимыми литературными образами.

Внешне жизнь Достоевского всегда была отчаянной борьбой с обстоятельствами. И теперь эти обстоятельства были исключительно и до конца пропавшими. Как было сказано, умирала жена. Как было сказано, погиб, по совершенной случайности, процветающий журнал. Не стоит говорить о том, что было полное и привычное отсутствие денег. Деньги – это особая статья. Нужда в деньгах была всегда настолько безысходная, что создала Достоевскому особый, доселе никому другому неведомый и неподвластный метод работы. Во многом повлиявший на его необъяснимый литературный стиль. Он вынужден был поставить себя с издателями так, что брал деньги вперёд, за одну только идею романа или повести. Это позволяла ему окрепшая репутация мастера. Заказчик, естественно, хотел получить товар как можно скорее, ставил несусветные сроки. В записках и письмах Достоевского есть об этом немислимые слова: “. . . сознаюсь, что писал многое вследствие необходимости, писал к сроку, написывал по три с половиною печатных листа в два дня и две ночи, чувствуя себя почтовой клячей в литературе”. Три с половиною печатных листа – это, по-теперешнему, больше восьмидесяти страниц машинописного текста. Как это возможно? “Очень часто случалось в моей литературной жизни, что начало главы романа или повести было уже в типографии и в наборе, а окончание ещё сидело в моей голове, но непременно должно было написаться к завтраму. . . Конечно, я сам виноват в том, что всю жизнь так работал, и соглашаюсь, что это очень нехорошо. . .”. “Вышло произведение дикое, – писал он об “Униженных и оскорблённых”, – но в нём есть с полсотни страниц, которыми я горжусь”. Так, отчасти, вынужден был работать другой русский гений – Василий Суриков. В стенах мастерской не хватало места для его грандиозных полотен, и он сворачивал в трубу записанную красками высушенную часть холста, чтобы на открывшейся продолжить работу. Целиком картину он порой видел уже только на выставке. Недостатки композиции иногда обнаруживались. В самом деле, если бы Меншиков в знаменитой его картине встал, то конечно, пробил бы головой и потолок скудного своего жилища в Берёзове, и раму изломал. Достоевский первым в России, не знаю как в других частях света, стал писать свои книги со стенографом, и бывало так, что сдавал в типографию текст, который сам не успевал не только выправить,

но и элементарно прочитать, и впервые видел свою работу только тогда, когда уже она была напечатана. Страшно завидовал он тем барам (Толстому, Тургеневу) в литературе, которые имели время шлифовать свои тексты и оттачивать мастерство. Так что, возможно, мы и имеем его полное собрание, изданное однажды даже в тридцати томах, не в последнюю голову потому, что деньги всегда нужны были ему дозарезу и более того.

Николай Страхов, первый биограф писателя: “Он жил исключительно литературным трудом... В случае нужды без всякой щепетильности обращался с просьбой к различным редакциям. Большею частью переговоры заканчивались отказом, и мне иногда было очень больно от мысли, кому он делает предложения. Но он смотрел на эти случаи, как на неизбежные неудобства своей профессии...”

Отрывок из письма Достоевского Софье Ивановой. Из Дрездена – в Москву. “...Если б Вы знали, как тяжело быть писателем, то есть выносить эту долю? Верите ли, я знаю наверно, что будь у меня обеспечено два-три года для этого романа (в данном случае речь идёт о “Бесах”, но это можно сказать о каждом из его творений. – Е. Г.), как у Тургенева, Гончарова или Толстого, и я написал бы такую вещь, о которой 100 лет спустя говорили бы!.. Идея так хороша, так многозначительна, что я сам перед нею преклоняюсь. А что выйдет? Заранее знаю: я буду писать роман месяцев 8 или 9, скомкаю и испорчу. <...> Будет много невыдержек, лишних растянутостей. Бездна красот (говорю буквально) не войдёт ни за что, ибо вдохновение во многом зависит от времени. Ну, а я всё-таки сажусь писать! Разве не мучение сознательно на себя руки подымать!”

Из письма Достоевского барону Александру Врангелю: “...Сижу за работой как каторжник... каждый месяц мне надо доставить в “Русский вестник” до 6-ти печатных листов. Это ужасно... Роман есть дело поэтическое, требует для исполнения спокойствия духа и воображения. А меня мучат кредиторы, то есть грозят посадить в тюрьму. Это надрывает дух и сердце... а тут садись и пиши...”

Уныния ему добавляло то обстоятельство, тоже новое для меня, что на свои романы, которые все признаны теперь неизмеримыми шедеврами, вынужден был смотреть он не более как на “фельетонную” каторгу для заработка. Фельетонной работой тогда было вот что: надо было выдавать к каждому выходу журнала порцию увлекательного чтения, регулярно и бесперебойно. Фельетонист призван был забавлять читателя, не более того. В таких условиях думать о вечности была непозволительная роскошь.

И вот его не остановила даже эта жестокая нехватка времени. В самом деле, можно ли себе представить нечто более ветренное, нелогичное, авантюрное и так не соответствующее образу пусть мрачного ликом и сурового духом, но и мудрого учителя человечества. Он решил проветриться гусарским намётом по Европе с милым созданием Аполлинарией. Вышло так, что она выехала вперёд и уже дожидалась его в Париже.

Достоевский поступил так, как поступили бы его герои. Он оставил умирающую жену, оставил гибнущий журнал, бросил дело, выключил творческое воображение и бросился в легкомысленное авантюрно-любовное путешествие. Размышления о судьбах Отечества и мира сменились сладчайшим предвкушением удовольствий, которые обещает дать юность угасающему сластолюбию.

Из письма Фёдора Достоевского Председателю Литературного фонда от 23 июля 1863 года: “...Собираясь отправиться на три месяца за границу для поправления моего здоровья... прошу займы, до 1 февраля будущего 1864 года – тысячу пятьсот рублей... В феврале же будущего 1864 года я обещаю честным словом возратить в кассу Общества взятый мною капитал – (1500 рублей) – с процентами, ибо твёрдо уверен, что, поправив своё здоровье, успею окончить и напечатать сочинение (первое, вероятно, упомина-

ние о замысле “Преступления и наказания”. – Е. Г.), которым я теперь занят и которое окупит теперешний заём. . .”

Из решения Комитета Литературного фонда: “. . . Выдать – 1500 рублей до 1 февраля 1864 года”. Деньги были выданы под пять процентов. Как дорог был тогда ничего ныне не стоящий залог – честное слово! Эта сумма станет понятней, когда узнаёшь, что пуд (шестнадцать килограммов) пшеницы стоил тогда сорок восемь копеек, а годовая зарплата квалифицированного промышленного рабочего едва превышала двести рублей.

Вспомним, что говорила дочь его – кто не перебесился до двадцати, тот безумствует в сорок. Открылась у него к тому же неожиданная страсть к рулетке. Как ни сильно было любовное томление, но в стремительном и легкомысленном пути своём не смог он не остановиться в знаменитом Висбадене, одним из тогдашних мировых центров азартной игры. Прежде он выработал беспроеигрышный план. Об этом плане я узнал, когда записывал интервью с правнуком Фёдора Михайловича для одной не очень серьёзной, насквозь проперчённой газетки. Он сказал так: “Из “Игрока” я выписал место, где описывается фрагмент игры, играл по этой “шпаргалке” и выиграл. Любой может взять с полки этот роман и найти. Там есть такое место. Я просто никогда никому не говорю, где именно. Прочитайте, подумайте – найдёте. Я вот выписал и с этой бумажкой сидел и ставил фишки. . . и ведь выиграл”.

Позже я это место отыскал у Достоевского. Вот он, этот секрет, который, возможно, столь же таинственный и фатальный, как у Пушкина в “Пиковой даме”:

“. . . Мне показалось, что собственно расчёт довольно мало значит и вовсе не имеет той важности, – пишет Достоевский, – которую ему придают многие игроки. Они сидят с разграфлёнными бумажками, замечают удары, считают, выводят шансы, рассчитывают, наконец, ставят и – проигрывают точно так же, как и мы, простые смертные, играющие без расчёту. Но зато я вывел одно заключение, которое, кажется, верно: действительно, в течении случайных шансов бывает хоть и не система, но как будто какой-то порядок, что, конечно, очень странно. Например, бывает, что после двенадцати средних цифр наступают двенадцать последних; два раза, положим, удар ложится на эти двенадцать последних и переходит на двенадцать первых. Упав на двенадцать первых, переходит опять на двенадцать средних, ударяет сряду три, четыре раза по средним и опять переходит на двенадцать последних, где, опять после двух раз, переходит к первым, на первых опять бьёт один раз и опять переходит на три удара средних, и таким образом продолжается в течение полутора или двух часов. Один, три и два, один, три и два. Это очень забавно. Иной день или иное утро идёт, например, так, что красная сменяется чёрною и обратно почти без всякого порядка, поминутно, так что больше двух-трёх ударов сряду на красную или на чёрную не ложится. На другой же день или на другой вечер бывает сряду одна красная; доходит, например, больше чем до двадцати двух раз сряду и так идёт непременно в продолжение некоторого времени, например, в продолжение целого дня”.

И вот ещё что важно, если вы соберётесь играть по системе Фёдора Достоевского. Он вот о чём предупреждает:

“Все проигрываются дотла, потому что не умеют играть. . . Пожалуйста, не думайте, что я форсю. . . говоря, что знаю секрет, как не проиграть, а выиграть. Секрет-то я действительно знаю; он ужасно глуп и прост и состоит в том, чтобы удерживаться поминутно, несмотря ни на какие фазы игры, и не горячиться. Вот и всё”.

Сам он выиграл тогда, и это практически единственный его крупный выигрыш, – 10 тысяч 400 франков. Если просчитать это по нынешнему курсу, выйдет около 60 тысяч долларов. Так что в этой системе есть толк. Это так, к сведению. Выиграть-то он выиграл, но есть ведь и такое роковое наблюдение, хорошо известное игрокам – повезёт на деньги, не повезёт в любви.

Из письма Достоевского брату: “Друг Миша, я в Висбадене создал систему игры, употребил её в дело и выиграл тотчас же 10 000 франков. Наутро изменил этой системе, разгорячившись, и тотчас же проиграл. Вечером возвратился к этой системе опять, со всей строгостью, и без труда и скоро выиг-

рал 3000 франков. Скажи: после этого как было не увлечься, как было не поверить — что следуй я строго моей системе, и счастье у меня в руках. А мне надо деньги, для меня, для тебя, для жены, для написания романа. Тут шутя выигрываются десятки тысяч. А я ехал с тем, чтобы всех вас спасти и себя из беды выгородить. А тут вдобавок вера в систему...”

Из записок дочери писателя Любови Достоевской: “Достоевский познакомился с игрой в рулетку уже в первое своё путешествие за границу и даже выиграл значительную сумму. Сначала он относился к игре довольно холодно; лишь во время вторичной поездки в сопровождении Полины его охватила страсть к рулетке”.

Ночью, где-то на подъезде к Парижу, не доезжая Северного вокзала, он проснулся от того, что настойчиво в вагонное окно светила полная луна. С неосознанною ещё тревогою он понял, что светит она с левой стороны по ходу поезда. “. . . И месяц с левой стороны сопровождал меня уныло”, — вспомнилась ему худая примета из Пушкина.

Название у дневника соблазнительное для записей любовницы великого человека: “Годы близости с Достоевским”. Выкладывая у букиниста несколько тысяч за него, слаще всего предвкушал я встречу с тайной. Разгадку тайны дневник этот, однако, никак не подвинул. Дневник не просто “лишён стилия”, как выражаются о нём добродушные толкователи литературных достопримечательностей. Он вообще редко выходит из рамок графомании. К тому же о Достоевском в нём упоминается лишь на десятке страниц из восьмидесяти трёх.

Вот что в нём самое внятное:

“Когда я вспоминаю, что я была два года назад, я начинаю ненавидеть Достоевского, он первый убил во мне веру. Но я хочу стряхнуть печаль”.

“Мне говорят о Фёдоре Михайловиче. Я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания”.

Вся тайна, конечно, тут.

Вся ценность дневника Аполлинаруи Сусловой в том и заключена. Это искупает все его недостатки. Доколе будут интересоваться Достоевским, этот документ будет первым по значению. Несмотря на. . . Ни на что не смотря. Потому что тут есть неприкрытая правда. Обычно люди боятся своей памяти. Особенно, когда, в самом деле, могут сказать нечто частное и честное о великих людях. Великие люди у нас никогда не пахнут потом, а только духами, да ещё желательно французского производства.

Воспоминатели сплошь страдают комплексом скорбной памяти, воспоминания их по большей части банальны и непереносимы, как надгробные речи. Профессор Орест Миллер, например, с сожалением так и говорил о своих записях, касающихся Достоевского: “либерально-прогрессивные общие места”. Очень казнилс я этим. Такие-то воспоминания чаще всего и делают людей окончательно мёртвыми. Достоевский в дневнике Сусловой окутан тайной — и это лучшее, что можно положить на могилу великого человека, кроме цветов. Тайна — вечный двигатель любопытства.

Разгадки тайны дневников Аполлинаруи Сусловой, конечно, не раз ещё будут доискиваться.

Примета из Пушкина оправдалась. Поскольку договаривались мы, что употреблены будут звучавшие на самом деле слова и фактические описания, то так и продолжим. Упомянутый дневник Аполлинаруи с того и начинается. Несколько дней, которые отняла у влюблённых рулетка, решили дело. Она встретила и тут же полюбила испанского, в цвете роскошной юности студента, который изучал в парижской Сорбонне медицину. Был он полон того обаяния, которое даёт уверенность в себе, вполне обладал лоском самоуверенной буржуазности, воспитанной вековечной наследственной беззастенчивостью в мыслях и поступках. Всего этого в избытке было у Сальвадора, так звали студента.

Когда полная луна с левой стороны настойчиво пророчила Достоевскому неудачу в текущем деле, Аполлинаруя мучительное сочиняла письмо: “Ты едешь немножко поздно. . . Ещё очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию, даже начала учиться итальянскому языку: всё изменилось в несколько

дней. Ты как-то говорил мне, что я не могу скоро отдать своё сердце. Я его отдала по первому призыву, без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любят. Я была права, сердясь на тебя, когда ты начинал мной восхищаться. Не подумай, что я порицаю себя. Я хочу только сказать, что ты меня не знал, да и я сама себя не знала. Прощай, милый. Мне хотелось тебя видеть, но к чему это поведёт? Мне очень хотелось говорить с тобой о России”.

Аполлинария, конечно, знала, в каком отеле остановится Достоевский, и послала это письмо по городской почте.

“... Я ему послала очень коротенькое письмо, которое было заранее приготовлено. Жаль мне его очень. Какие разнообразные мысли и чувства будут волновать его, когда пройдёт первое впечатление горя! Боюсь только, как бы он, соскучившись меня дожидаться (письмо моё придёт не скоро), не пришёл ко мне сегодня, прежде получения моего письма. Я не выдержу равнодушно этого свидания. Хорошо, что я предупредила его, чтобы он прежде мне написал, иначе что б было. А Сальвадор, он не пишет мне до сих пор... Много принесёт мне горя этот человек”.

Так и случилось. Письмо не поспело вовремя. Если бы Полина догадалась отвезти письмо в отель лично и в тот же день вручила его дежурному портье “для месье Достоевского”, всей нелепой и напряжённой дальнейшей истории могло бы и не быть.

“... Едва успела я написать предыдущие строки, как Ф[ёдор Михайлович] явился. Я увидела его в окно, но дождалась, когда мне пришли сказать о его приезде, и то долго не решалась выйти

– Здравствуй, – сказала я ему дрожащим голосом.

Он спрашивал меня, что со мной, и ещё более усиливал моё волнение, вместе с которым развивалось и беспокойство.

– Я думала, что ты не приедешь, – сказала я, – потому что написала тебе письмо.

– Какое письмо?

– Чтоб ты не приехал...

– Отчего?

– Оттого, что поздно.

Он опустил голову.

– Поля, – сказал он после короткого молчания, – я должен всё знать. Пойдём куда-нибудь, и скажи мне, или я умру.

Я предложила ехать с ним к нему.

Всю дорогу мы молчали. Он только по временам кричал кучеру отчаянным и нетерпеливым голосом “вит, вит”, при чём тот иногда оборачивался и смотрел с недоумением. Я старалась не смотреть на Фёдора Михайловича. Он тоже не смотрел на меня, но всю дорогу держал мою руку и по временам пожимал её и делал какие-то судорожные движения.

“Успокойся, ведь я с тобой”, – сказала я.

Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая мои колени, говорил: “Я потерял тебя, я это знал”.

Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек: может быть, он красавец, молод, говорун.

Я долго не хотела ему отвечать.

– Ты отдалась ему совершенно?

– Не спрашивай, это нехорошо, – сказала я.

– Поля, я не знаю, что хорошо, что дурно. Кто он, русский, француз? Тот? Я сказала ему, что очень люблю этого человека.

– Ты счастлива?

– Нет.

– Как же это? Любишь и несчастлива. Как, возможно ли это?

– Он меня не любит.

– Не любит! – вскричал он, схватившись за голову в отчаянии. – Но ты не любишь его, как раба, скажи мне это, мне нужно это знать. Не правда ли, ты пойдёшь с ним на край света?

– Нет, я уеду в деревню, – сказала я, заливаясь слезами”.

Обилие упомянутых слёз, однако, покажется делом театральным, когда узнаешь, что все эти трогательные описания сделаны в форме заготовок для будущей мелодраматической литературы. Аполлинару имела уже заднюю мысль приспособить свои повседневные записи к вечному. Тут сошлись два профессионала, разного качества, правда. Оба обладают как бы стереоскопическим зрением. Обыденную жизнь они видят уже наряженной в венок из самых ярких цветов. Оценивают, можно ли сделать живым выдуманный образ, если вдохнуть в него боль собственной души. Такова вечная месть художнику за Божий дар. Это, пожалуй, всё-таки больше относится к Достоевскому. Вот что осталось от этой дневниковой записи в повести Аполлинаруи Суслевой “Чужая и свой”:

“Он подошёл к ней и протянул ей руки. Увлечённая чувством признательности и радости, она подала было свои, но вдруг выдернула и закрыла ими лицо.

— Анна, что ты? — воскликнул он, поражённый таким движением.

— Зачем ты приехал? — проговорила она с тоской.

— Как зачем! Что ты говоришь?

Он смотрел на неё во все глаза и старался уразуметь смысл её слов, между тем как сознание этого смысла её слов уже сказывалось в его сердце нестерпимой болью. Она взяла его за руку и подвела к дивану, на который оба они сели рядом. Несколько времени они молчали.

— Разве ты не получил моего письма, того, где я писала, чтоб ты не приезжал? — начала она, не смотря на него, но крепко держа его руку.

— Не приезжал?.. Отчего?

— Оттого, что поздно, — проговорила она отрывисто.

— Поздно! — повторил Лосницкий машинально, и у него потемнело в глазах, несколько времени он не говорил ни слова”.

Аполлинару догадывается при этом, что выступает на авансцену разыгрывающейся драмы, которая долго будет волновать будущих зрителей, потому очень заботится предстать в ней в полном блеске:

“...Молодая красивая женщина вошла в комнату. Лицо её было очень бледно, беспокойство и тоска сказывались на нём, смущение и робость были в каждом движении, но в мягких и кротких чертах проглядывала несокрушимая сила и страсть; не всем видимая, но глубокая печать того рокового фанатизма, которым отличаются лица мадонн и христианских мучениц, лежала на этом лице”.

Она попыталась угадать душу своего великого любовника и не угадала, конечно. Именно об этом жестоком моменте написал гораздо позже и сам Достоевский в письме к сестре Суслевой Надежде. Подлинные его чувства были далеки от тех, которые так нравились Аполлинаруи. Она не угадала, и, пожалуй, это говорит лучше всего о способности её читать в человеческих душах, без чего даже мало-мальского писателя не бывает:

19 апреля 1865 г., Петербург. “Аполлинару — большая эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. Она колет меня до сих пор тем, что я не достоин был любви её, жалуется и упрекает меня непрерывно, сама же встречает меня в 63-м году в Париже фразой: “Ты немножко опоздал приехать”, то есть, что она полюбила другого, тогда как две недели тому назад ещё горячо писала, что любит меня. Не за любовь к другому я корю её, а за эти четыре строки, которые она прислала мне в гостиницу с грубой фразой: “Ты немножко опоздал приехать”. <...> Я люблю её ещё до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить её. Она не стоит такой любви. Мне жаль её, потому что предвижу, она вечно будет несчастна. Она нигде не найдёт себе друга и счастья. Кто требует от другого всего, а сам избавляет себя от всех обязанностей, тот никогда не найдёт счастья... Она не допускает равенства в отношениях наших... считает грубостью, что я осмелился говорить ей; например, осмелился высказать, как мне больно. Она меня третировала свысока. Она обиделась тем, что и я захотел, наконец, заговорить, пожаловаться, противоречить ей”.

Это уже тип, драгоценный для Достоевского материал, натура, волнующая до глубины, до творческого аффекта. Мастер-портретист может испытывать некую прибавочную влюблённость в изображаемую натуру. Об этом доходчиво пишет, например, художник Репин в автобиографических записках. Это влюблённость особого свойства и высшего порядка. Не плоть, а дух питают такую привязанность. Особенности творческой манеры Достоевского складывались из того, что слишком часто оказывались рядом и особенно действовали на его воображение люди с вывихнутой душой. Сначала это были фанатики из кружка Петрашевского, одержимые политическим бесовством, маньяки, посягнувшие на строй, может, единственно годный в России. Потом каторжане-варнаки: душегубы, растлители и святотатцы, которые стали героями самой громкой его книги, потом несколько изломанных женщин, пока не найдёт он вполне дюжинную, но которая, оказывается, только и нужна ему станет до конца дней. Так что некоторый дефицит нормальных житейских отношений и расхожей стандартной обстановки сделали его взгляд на жизнь сумрачным и одноцветным, как его любимые чёрные казимировые жилеты. Не эту ли сторону его личности имел в виду цитируемый мной в самом начале этого повествования виконт де Вогуэ, когда говорил о пристрастном отношении Достоевского к ночи бытия.

Из воспоминаний дочери Достоевского: “Весной Полина написала отцу из Парижа и сообщила о неудачном окончании её романа. Французский возлюбленный обманул, но у неё не хватало сил покинуть его, и она заклинала отца приехать к ней в Париж. Так как Достоевский медлил с приездом, Полина грозила покончить с собой – излюбленная угроза русских женщин. Напуганный отец, наконец, поехал во Францию и сделал всё возможное, чтобы образумить безутешную красавицу. Но так как Полина нашла Достоевского слишком холодным, то прибегла к крайним средствам. В один прекрасный день она явилась к моему отцу в 7 часов утра, разбудила его и, вытащив огромный нож, заявила, что её возлюбленный – подлец, она хочет вонзить ему этот нож в глотку и сейчас направляется к нему, но сначала хотела ещё раз увидеть моего отца. . . Я не знаю, позволил ли Федор Михайлович себя одурачить этой вульгарной комедией, во всяком случае, он посоветовал Полине оставить свой нож в Париже и сопровождать его в Германию. Полина согласилась, это было именно то, чего она хотела”.

Некоторые исследователи не хотят верить, что Сулова способна была на подобную пошлую выходку, но дневник её в соответствующих местах вовсе не противоречит такому её настроению.

И вот теперь она мелочно ненавидит французов, наивно и дотошно. На грани болезненной. Какой-то француз, например, поселившись в соседние с ней гостиничные номера, требует от хозяйки, чтобы не было блох. Она записывает в дневнике фразу, которую объяснить можно только логикой неостыившей злобы: “Какая подлость, и как это похоже на французов”.

Осмелюсь сказать, что Аполлинария и тут смогла повлиять на Достоевского. Комплекс неприязни ко всякому иностранцу, к его манерам развился у Достоевского, начиная с этих эпизодов. Комплекс этот развился, однако, в нечто вполне связанное и далеко не тривиальное. В отличие от большинства русских, иностранец всегда держится чётко знает с каким достоинством. Но это только пустая форма. “Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком”. Это я цитирую Достоевского – из “Игрока”. У русского такой устоявшейся формы нет. Он кажется неуверенным в себе, почти всегда проигрывает перед иностранцем, “и знает почему: потому, что русские слишком богато одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму”. “Оттого-то так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша”. Всякий иностранец скроен по одной только мерке. Человек тут приложение к собственным пожиткам. “Я же, – от имени русского человека заявляет Достоевский, – не считаю себя всего чем-то необходимым и придаточным к капиталу”. Не знаю, читал ли знаменитый “ихний” человековед Герберт Маркузе Достоевского, но именно этой мыслью он и стал знаменит лет тридцать назад. Он вывел формулу одномерного человека в благополучном мире. Формулу человека, не способно-

го развиваться, с которой и спорить-то перестали. Значит, Достоевский попал в точку, и задолго до того. Вот и выходит опять, что даже банальная и мелкая история может подтолкнуть гения к большим выводам.

И всё-таки ещё, поскольку героем этих заметок, помимо Аполлинарии Сусловой, в равной, а то и в большей степени является сам Фёдор Достоевский, то хочу добавить несколько поразивших меня деталей его личности, отчасти выходящих за рамки темы. Хотя как сказать. Достоевский, как, впрочем, и исключительно почитаемый им Пушкин, не был гением житейских обстоятельств, но надо помнить, что даже оскорблённый и униженный обстоятельствами, запутавшийся в рутине нестоящих дел, он продолжал оставаться нестигаемым гением духа. Его неумение жить говорит только о том, что руководила им единственная и высшая сосредоточенность, напряжённое внимание художника. И все эти житейские неудачи только подчёркивают его обаяние творца.

Первые критики Достоевского в большинстве воспринимали его экзотическим объектом для сомнительного своего остроумия. Улюлюкали при выходе каждого романа. Откровенно рядили в сумасшедшие. В истории литературы есть разные курьёзы. Один такой. Известная Софья Андреевна Толстая с некоторых пор стала подозревать неладное в умственном состоянии своего великого мужа. “Лёвочку никто не знает, знаю только я – он больной и ненормальный человек”. И далее: “Если счастливый человек вдруг увидит в жизни, как Лёвочка, только всё ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья... Тебе полечиться надо”, – прямо обращалась она к нему. Она однажды даже повезла его в Тулу, к тамошним светилам соответствующего медицинского направления. Об этом есть вполне обстоятельная запись в знаменитом по откровенности дневнике Льва Николаевича. Местные врачи бесстрастно констатировали в его состоянии конкретные и подозрительные симптомы. Суждения, однако, оказались двоякими. “Сегодня меня возили свидетельствовать в губернское правление, и мнения разделились. Они спорили и решали, что я не сумасшедший... Они признали меня подверженным эффектам и ещё что-то такое, но в здоровом уме. Они признали, но я-то знаю, что я сумасшедший”. Никаких подобных профессиональных свидетельств нет о Достоевском. Те, кто дразнили его юродивым, возможно, сами того не подозревая, попадали, отчасти, пальцем в небеса. Дело в том, что в старой Руси Ивана Грозного, к примеру, юродивый вовсе не считался сумасшедшим, а не менее как посредником между небом и верующим в небесную благодать православным народом, уполномоченным самого Господа Бога. Такая должность Достоевскому вполне могла подходить. Есенин тоже порой удивлялся некоторым собственным состояниям. Ему непонятно было, откуда берутся у него эти необычайные слова и образы. И тогда называл себя просто “божьей дудкой”, с помощью которой Господь выпевает земному народу свои небесные песни. Другими словами, Есенин возлагал на себя полномочия юродивого в изначальном понимании этого слова. Такой “божьей дудкой” для воплощения небесного эпоса земными словами, несомненно, был и Достоевский. С таким убеждением, во всяком случае мне, удобнее воспринимать запечатлённые им глыбы сознания. Непривычный стиль его романов и объясняется отчасти тем, что они изложены не обычным же и порядком. Они не записаны, как это было и есть с большинством литературы. Они как бы напеты, положены на бумагу с голоса. Достоевский, как уже знаем мы, впервые в истории творчества, начиная с повести “Игрок”, диктовал свои шедевры стенографу. Таким образом укорачивается путь слова от плавильной печи воображения к бумаге, и слово укладывалось в остов будущей книги ещё горячим и живым.

Загадка Сведенборга до сей поры не разгадана. Его путешествие в потустороннем мире, между тем, стало если не фактом истории, то фактом культуры. Подобное же путешествие совершил и Фёдор Достоевский. Путешествие в тёмную сторону сознания, которое вот-вот должно было обернуться реальным бытом России. Всё то, что относят к недостаткам в творчестве Достоевского, в “Бесах” проявилось в самом явном, неприкрытом, бросающемся в глаза виде. Вернувшись из своего потустороннего путешествия, он сбивчиво, порой многословно, не слишком последовательно, нагромождая жуткие кар-

тины увиденного одну на другую, пытается передать тот ужас самовидца, который знает пока только один. И который обязан скорее, по свежим следам и памяти, передать другим. Он один пока знает истину, которая может спасти. Грядут новые люди, свободные от привычной морали. Морально для них то, что целесообразно. Эти люди страшнее Раскольникова, который сам себя казнит за то, что переступил, преступил. У тех же людей нет нравственности, значит, нет и преступления. Им не за что казнить себя. Это бесы, у которых вместо морали пустое место. Это уроды от рождения. У них нет того органа, который отвечает за совесть. Это много страшнее Раскольникова, которому совесть позволяет переступить, но не освобождает от собственного нравственного суда. У новых людей нет привычных человеческих качеств. Есть жестокая цель, которая освобождает от всего, что мешает достижению этой цели. Они не умеют созидать. Они не умеют продолжать, они будут строить заново, и потому им нужно сначала разрушить всё до основания, убить, а затем... Он видел этих людей. Он должен предупредить. И все недостатки его рассказа искупаются жутью вдохновения, блеском образов. Он умеет главное – внушить современникам собственный страх. Он единственный знает, что грядёт. Он захлёбывается словами, он сбивается на крик, он ужас свой пытается изобразить в лицах, одно кошмарнее другого. В таком рассказе не нужна стройность, никакая отточённость и профессиональная проработка не дадут того эффекта, когда ужас как откровение надо передать непосредственно из души в душу. Я так думаю, что это и есть стиль пророка. Если бы у библейских Илии, Еноха и Иисуса Навина была возможность записывать лично свои видения, они, вероятно, выбрали бы стиль Достоевского.

И, конечно, весь роман “Бесы” – это предупреждение о походе “ленинской гвардии”. Его томление от предчувствия подступающей беды. Когда человек кричит о пожаре в собственном доме, ему не надо владеть актёрским ремеслом, чтобы казаться убедительным. Академическими приёмами, какими в совершенстве владели Тургенев или Гончаров, не передашь состояние обморочного ужаса, в котором пребывает душа пророка. Это не стиль – это стихия. Стилем это не передать. Нужно попытаться передать увиденное живьём. По возможности.

Ну и вот только теперь о том главном, что обозначено в заголовке. О законе Достоевского. О его теории, тяготеющей к универсальности на всеобщем гуманитарном пространстве. Однажды Достоевский так пояснил свой творческий метод: “Ты понимаешь, что такое переход в музыку. Точно так и тут. В первых главах, по-видимому, болтовня, но вдруг эта болтовня в последних главах разрешается неожиданной катастрофой”. Это он написал о своих “Записках из подполья”. “Болтовнёй” написанное Достоевским, даже “в первых главах” этой повести, стеснялись назвать и самые насмешливые из его противников. А сам он как-то вот не испугался.

Эта болтовня теперь множество раз перечитана, осмыслена до последнего слова. Пробую прочитать эту болтовню снова, отделившись, сколь можно, от обаяния великого имени и слов, намеренно расположенных в беспощадной простоте начального хаоса. Этот хаос, как известно, когда-то предшествовал Божьему порядку. Объём этой обозначенной автором “болтовни” в академическом издании около пятидесяти страничек. Вот попробую я, хотя бы наскоро, пробежать их, и потом, не переводя дыхания, прислушаюсь к себе. Каков будет результат, как в беге, например, на стометровку? Самый замечательный момент в беге тот, что стометровка то всегда одна и та же, а результат у сотни бегущих у каждого свой. В понимании текстов этот момент вполне сохраняется.

И вот присматриваюсь к своему результату. Попробую сказать. В одном месте Достоевский с весёлою и мудрой усмешкой обращается к лучшим благонамеренным умам, провозгласившим, как кажется, бесспорные и непробиваемые истины. Человек должен быть счастлив, сыт, чист наружно и внутри, безмятежен, у него должны быть в наличии такие, например, козыри демократии, как свобода, равенство, благоденствие. Да кто же не мечтал об этом? А дальше? Это Достоевский спрашивает. Вот построили ли этот рай земной. Железной рукой затащили человека туда. Да не станет ли он через неделю биться головой о стены, отгородившие его от прежней неразумной, тяжёлой и гадкой жизни? Я слышал, что Сократ с оружием в руках сражался против по-

сулов демократии. Теперь, хлебнувши всех этих благ демократии, я его хорошо понимаю... Скучно человеку, продолжает Достоевский, станет в раю, где даже мелкую пакость совершить невозможно. “Плюнуть, например, с дирижабля на голову ближнему”, – уточнит Зощенко.

Что можно вынести из подобной “болтовни”? Вполне катастрофический вывод, что никакие благие придумки человечеству не нужны, особенно – человеку русскому. У него, у каждого в этом народе, своя правда. Живёт он без оглядки на чужую мудрость. Поэтому и одинок во вселенной. И, если бы ему не мешали в его вселенском одиночестве, то лучшей доли и не надо. Достоевского всегда трудно понять – серьёзно он говорит или с усмешкой. И героев его не уловить в том. Но тут, как говорит теперь молодёжь, отученная от Достоевского, вся фишка и есть. Наслушались мы серьёзного. Злобнее и смешнее которого не бывает...

Издавна люди ищут законы, которые управляют природой. Есть тут большие успехи. Особенно острые и проникновенные умы догадались о всеобщих законах, действующих на всём пространстве доступного для понимания материального мира. Подкинув камень, мы можем точно предугадать, как он будет вести себя в соответствии с теми законами. Для человека же таких расчётов не существует. Есть в человеке такая штучка, которую Достоевский определил в этой своей “болтовне” как “самостоятельное хотение”. После того как я прочитал “Записки из подполья”, я не могу, например, смеяться над такой вот, безусловно ироничной бездонной фразой Кузьмы Пруткова: “Хочешь быть счастливым – будь им”. Свободная воля человека действует мимо привычной выдуманной логики. Захочет человек быть счастливым, может быть, и станет счастливым. Захочет страдать, и это ему не запретишь. Нельзя человеку желать горя, но и счастья ему не желайте с убийственной настойчивостью. “И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? Человеку надо – одного только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела”. И главное, как вы можете вести куда-нибудь человечество, если не знаете точно, что ему нужно. Большой это грех – распоряжаться человеческими судьбами, не выходя из рамок собственной ограниченности. Не потому ли досужие придумки о счастье обошлись человечеству такой большой кровью. Вот первый великий и всеобщий закон Достоевского о человеке: “Своё собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы и самый дикий каприз, своя фантазия, раздражённая хотя бы даже до сумасшествия, – вот это-то всё и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к чёрту”. Вот таков первый всемирный закон тяготения человека к воле творить собственную судьбу и самому распоряжаться ею. По собственному хотению и разумению. Может, все эти социальные теории, вся социальная практика ни к чему пока не привели только потому, что этот всемирный закон Достоевского никак не учитывался в них?

В романах Достоевского человек так и поступает. Поступки героев часто кажутся немотивированными. Фантазия автора тут только в том, чтобы придумать хотение. Аполлинария Сулова одна из тех, кто мог своею собственной персоной подсказать Достоевскому этот его окончательный вывод о человеке. Выходит, её живой образ есть и в Раскольникове, и в Рогожине, и в Дмитрие Карамазове.

Пятьдесят этих страниц написаны без интеллектуального надрыва и будто бы не в полную силу, с обманной лёгкостью, чтобы не отпугнуть читателя, собравшегося прочитать очередную повестушку о похождениях неприкаянного русского человека, добровольно опустившегося на самое дно человеческой жизни. Что-то вроде продолжения “Петербургских тайн” Крестовского, приспособившего сюжеты Эжена Сю к питерскому сумраку. Но в них-то, может быть, и есть самая главная достоевщина. Его самые глубокие мысли.

Талант читателя зачастую бывает не меньшим, чем талант писателя. Надо только уметь читать и думать над строкой. Кафка внимательно читал именно эти “Записки из подполья”. Из двух строк этих записок родилась у него самая знаменитая новелла “Превращение”. Весь нынешний экзистенциализм вышел из “подполья” Достоевского. Так утверждали сами его верховные носители.

Немало для простой болтовни. Его герои часто говорят с видом “какого-то подмигивающего весёлого плутовства”. Так говорят они в момент высоко-го подъёма, чтобы не казаться слишком высокопарными и неестественными. Он и сам был чрезвычайно застенчив, и часто сбивался на этот тон, пока идея не захватывала его до конца. Так он, похоже, и писал, пока не забывал, что занимается литературой, и начинал чувствовать себя божьей дудкой.

Зимнее московское утро за моим окном можно определить только по двум признакам. Трудолюбивый выходит таджик скрести заскорузлый асфальт. Бесконечный этот унылый звук предвещает серый московский рассвет, который несколько не лучше того питерского, в какой выходил Раскольников с топором под полюю. Только роскошных процентчиков теперь на бедной Руси столько, что топор под полюю давно, ещё с семнадцатого года, стал смешным. Каждое третье шикарное здание в центре Москвы теперь приспособлено под банк. Рядом со мною, в ста метрах, это заведение называется “Банк сосьете женераль восток”. Мне без перевода ясно, что исчерпывающим словом тут является “сосьёте”. Они сосут из вас, а вы “сосьете” у них. Смешная старуха-процентщица обернулась теперь непобедимой беспощадной армией, взявшей Отечество в бессрочный, беспросветный хазарский полон. Топором махать поздно. Топором нынешнюю старуху-процентщицу в шикарном блестящем броневике, исполненном на заказ какой-нибудь знаменитейшей европейской или японской автомобильной фирмой, не возьмёшь. Другие средства нужны. История подсказывает мне угрюмую аналогию. И тут опять надо говорить о жестокости его, Достоевского, способности проникать в будущее. Он страшный любимец времени, которое по странному капризу материализует его прихотливые фантазии в непомерных масштабах. И вот литературная придумка, сделанная даже таким мрачным мастером, как Достоевский, оказалась забавной игрушкой в сравнении с тем, во что способна бывает обратиться жизнь. На улицах Мюнхена появился однажды другой Раскольников. Неудавшийся студент Венской художественной академии. Вместо топора под полюю этот вовсе не бездарный художник вынашивал в складах сумеречной души идею о партии, которая первым делом освободила бы от “процентного рабства” смертельно униженный историческими обстоятельствами немецкий народ. Имя этого нового живого воплощения литературного образа было Адольф Гитлер. Из его биографии, которую любовно и тщательно изложил он в жуткой и поучительной книге “Main Kampf”, и следует, что первым толчком к созданию партии топора стало засилие банков в нищей и обездоленной стране, то самое “процентное рабство”. Раскольников называл ростовщический произвол похоже — “заеданием чужой жизни”. Говорят, что Гитлер пришёл к Достоевскому через посредство Ницше. Так ли? Сам Гитлер говорил, что большее впечатление на него всегда производил Шопенгауэр. Я, конечно, не могу доподлинно утверждать, что мысль о создании убийственного идеологического топора, способного разом покончить с непомерно жиреющей на народной беде громадной немецкой старухой-процентщицей, была непременно подсказана Гитлеру Достоевским. Ни в каком разе. Я в этом несколько не уверен. Но прочитать “Преступление и наказание” и сходные своим размышления Раскольникова о “процентном рабстве”, о превосходстве и правах избранных личностей юный страстный книголюб Адольф Гитлер уже мог. Первый перевод этого романа на немецкий язык вышел в 1882 году, за семь лет перед тем, как ему (Адольфу) родиться. Косвенное свидетельство о почтительном отношении зрелого Гитлера к Достоевскому есть в словах того же правнука его Дмитрия Достоевского. Когда оккупанты захватили Симферополь, там жила его бабушка, Екатерина Петровна, её муж, сын писателя, Фёдор Фёдорович, уже давно умер, сын Андрей проживал в Ленинграде и в это время находился на фронте. Несмотря на это, немцы при расквартировании повесили на её дверях табличку на немецком: “Здесь живёт невестка Достоевского, квартиру не занимать”. Между прочим, в верхах Третьего рейха были свои Настасьи Филипповны, по характеру и поступкам более масштабные опять же — Ева Браун, например, и Магда Геббельс.

Хочу оговориться, что ни в каком разе не хочу я поднять Гитлера до уровня Достоевского или, наоборот, унижить Достоевского. Мне просто нужно было поглядеть на бесчинства сегодняшнего дня сквозь призму (прошу прощения за столь потёртое от употребления слово) истории. История же имеет свойство повторяться. Опять банальность, но банальности обязательно таят неизбывный

начальный, страшный чаще всего смысл, и этим ценны. Смысл этой банальности в том, что схожие обстоятельства обязательно вызовут похожие последствия. Непомерное процентное рабство в России, помноженное на гомерическое воровство народной казны, питающей бесчисленные банки, поэтому заряжено вполне предсказуемой жутью. Как и многое другое. Униженный народ, призывая Христа, не побрезгует призвать и чудовище, лишь бы оно помогло избавиться от сущей невыносимой беды. И эти ожидания иногда материализуются из чайний убиваемого народа. Избави, Господи! Не издевайтесь, неразумные, над народом. Читайте мать Историю. Читайте Достоевского, наконец.

Достоевский, как видим, единственный писатель, который вполне убедительно доказал своим творчеством, что призраки сознания бывают смертельно опасными. Может быть, это и хорошо, что Достоевский умер, не угадав нечто такое, что могло бы, по роковой предрасположенности его прозрений к воплощению в стократном масштабе, обернуться концом света.

... Когда-нибудь русский народ, если у него, конечно, ещё останется хоть какая-то нравственная сила, хоть какая-то воля продолжить свою историю, обязательно предьявит счёт своей литературе.

Как это будет?

Во-первых, он прислушается и поглядит, что осталось в памяти и в душе. О большинстве славных поныне имён и сказать будет нечего, коль скоро их не обнаружится в наличной памяти. С этими и решать нечего. А вот к тем посмертным счастливым, кто остался — к тем и будет предьявлен тот запоздалый и справедливый счёт.

Русские литераторы, каждый по-своему, тайно или откровенно, с умыслом или ошибаясь, по глупости или корыстно отдали дань служения бесам. Каждый из них, тайно или явно, осознанно или беспечно, изводил собственное Отечество. Это Розанов, что ли, сказал, что после Гоголя можно сказать определённо, что великая русская литература погубила Россию. Это потому, что желание попасть в струю общего мнения, шагнуть в ногу с прогрессом, а то и простое желание сытно покушать и выпить водки мутило здоровый рассудок и оглушало совесть русского писателя. С некоторых пор стало признаком хорошего тона всячески порочить русский народ. Пропуск в великие писатели выдавался только тем, кто был усерден в этом. За это хорошо платили, и редкий писатель не бросал камней в собственный народ в надежде, что они обратятся в хлебы, да ещё и маслом намазанные. Эта жалкая традиция особо популярна теперь. Другие народы получили совершенно превратные представления о русском народе из русской же литературы. Иван Солоневич, глубоко исследовавший это явление, сделал вполне логическое заявление, что Гитлер только потому и был уверен в скорой победе над Россией, что имел о её народе слишком литературные представления. В самом деле, можно ли представить себе нечто более несообразное, чем, например, Акакий Акакиевич Башмачкин, ползущий с гранатой в руке под вражеский танк. Впрочем, это непростая и долгая история, которую в двух словах не исчерпать. И, возможно, из всех великих писателей только Достоевский никогда не пытался торговать душой. Обаянию бесов, вселившихся в свинное стадо новой интеллигенции, поддались все. И только Достоевский да ещё Лесков ясно отличали бесовское наваждение от святого духа. К тому времени полную силу приобрела такая дьявольская штука, как общественное мнение. Впрочем, оно существовало давно. Если бы кто написал историю общественного мнения, это было бы любопытнейшее чтение. Оказалось бы, что первой его великой жертвой был сам Иисус Христос. Это общественное мнение управлялось уже тогда, когда глупая толпа первый раз крикнула: "Распни его!". С тех же пор, как появились печатный станок и газета, общественное мнение поработило мир. Достаточно было Лескову, например, дать понять, что подлинное творчество не может иметь с политикой и разного рода прогрессивными движениями ничего общего, как он был немедленно объявлен "вне закона" в литературе. На него обрушились самые влиятельные газеты. Ни один из ничтожнейших репортеров не упустил случая поизгаляться над ним. Рукописи Лескова демонстративно возвращались ему из издательств не прочитанными. Несколько романов, изданных за свой счёт, встречены были враждебным молчанием...

Если бы не Георг Брандес и несколько других известных датских и немецких литераторов, объявивших Лескова по значению в литературе выше Достоевского, мы бы, вероятно, и до сей поры не знали подлинной цены этого великого писателя.

Многие ли могли выдержать подобную атмосферу? В этом смысле Достоевский остаётся неподсуден.

И вот пришла смерть. Последние мгновения его описаны женой, Анной Достоевской: "...Проснулась я около семи утра и увидела, что муж смотрит в мою сторону.

— Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой мой? — спросила я, наклонившись к нему.

— Знаешь, Аня, — сказал Фёдор Михайлович полупшепотом, — я уже часа три как не сплю и все думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру.

— Голубчик мой, зачем ты это думаешь? — говорила я в страшном беспокойстве, — ведь тебе теперь лучше, кровь больше не идёт, очевидно, образовалась "пробка", как говорил доктор. Ради бога, не мучай себя сомнениями, ты будешь еще жить, уверяю тебя!

— Нет, я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие!

Это Евангелие было подарено Фёдору Михайловичу в Тобольске (когда он ехал на каторгу) жёнами декабристов (П. Е. Анненковой, её дочерью Ольгой Ивановой, Н. Д. Муравьёвой-Апостол, Фон-Визиной). Они упростили смотрителя острога позволить им видаться с приехавшими политическими преступниками, пробыли с ними час и "благословили их в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге".

Фёдор Михайлович не расставался с этой святою книгою во все четыре года пребывания в каторжных работах. Впоследствии она всегда лежала у мужа на виду на его письменном столе, и он часто, задумав или сомневаясь в чём-либо, открывал наудачу это Евангелие и прочитывал то, что стояло на первой странице (левой от читавшего). И теперь Фёдор Михайлович пожелал проверить свои сомнения по Евангелию. Он сам открыл святую книгу и просил прочесть.

Открылось Евангелие от Матфея. Гл. III, ст. IV: "Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду".

— Ты слышишь — "не удерживай" — значит, я умру, — сказал муж и закрыл книгу.

Я не могла удержаться от слёз. Фёдор Михайлович стал меня утешать, говорил мне милые ласковые слова, благодарил за счастливую жизнь, которую он прожил со мной. Поручал мне детей, говорил, что верит мне и надеется, что я буду их всегда любить и беречь. Затем сказал мне слова, которые редкий из мужей мог бы сказать своей жене после четырнадцати лет брачной жизни:

— Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно!"

Как дико, наверное, прозвучит теперь его завещание России, если произнести его с какой-нибудь высокой межнациональной трибуны, и как больно, что мы дошли до того, что эти слова уже к нам, кажется, неприложимы. "Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским... значит только стать братом всех людей, всечеловеком... Это значит: внести примирение в европейские противоречия, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловеческой и всесоединяющей... и, в конце концов, может быть, изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову Евангельскому закону". Народ, позволивший сделать с собой то, что делали с ним в двадцатом веке, позволяющий делать то, что делают теперь, уже давно недостоин этих чаяний. И это отношу я к величайшей посмертной трагедии Достоевского. К последней трагедии русского народа, оказавшегося недостойным своего пророка и неустанного духовного защитника перед Богом и людьми.

Вот слышу я и второй признак глухого московского утра. Детей повели в уцелевший ещё детский садик мимо безобразного лица хрущёвской панельной двенадцатизатки, в которой я живу. Я слышу это, потому что не проснувшись до конца дети ревут благим матом. Ревёт завтрашняя Россия каждое утро под моими окнами. Будто чувствует, что вступает она в то будущее, где ждут её жестокие тайны, неразрешимые проблемы и суровые наставники, первым из которых остаётся Фёдор Достоевский... Плачет пустыми слезами неразумная надежда...